

В деревне моего детства желтый мох полосил прибрежные камни, и ночи были полны потусторонних оказий. В четыре, ближе к рассвету, за дверью начинали чавкать; взрослые говорили, что мне только показалось. Но каждую ночь кто-то подходил к нашей двери, и звуки раздавались снова. Я долго лежала под одеялом, укрытая с головой, и холодела.

Дядю Толю, нашего соседа, я считала чем-то средним между мутантом и колдуном. Его лицо напоминало пожеванную ириску, он пах молоком и железом, а по ночам – его дом стоял почти вплотную к нашей даче – орал непонятные слова. Пока во дворе не позаботились о расширении моего кругозора, я была уверена, что он кого-то проклинал.

Помню свой детский страх: вот однажды утром к нам придет ночной дядя Толя, и будет он хлюпать, и трясти на меня шерстью, и унесет с собой все золото и бабушку в придачу. Но когда дядя Толя все-таки приходил и сиял на меня мягким алкоголическим блеском, я бывала разочарована. Он не к месту заводил частушки, выбивал пыльными туфлями ритм, и все это складывалось в очевидное послание: «Люб, самогончик найдется?»

Дедушку я видела редко. Он прожил с бабой Любой сорок семь лет и из них сорок шесть держал под кроватью обрез. Бабуля не вооружалась ничем, кроме силы своего характера. Деда это пугало. Его

речь стремительно военизировалась, стала сухой и обрывистой.

Станным мне казалось многое. Но вот то, что бабушка всегда молчала, мне странным не казалось. Повзрослев, я узнала, что, первое: она перестала говорить, когда ее дети были совсем маленькими, и второе: что эти самые дети, включая мою маму, были приемными. Загадку внезапной немоты, как и загадку парадоксального у полностью здоровой женщины бесплодия, врачи разрешить не смогли.

Спустя много лет я вернулась в деревню под Новый год. Вдруг бросилось в глаза, что в доме вместо паркета – голый бетон, что потолки какие-то бумажные и висят хлопьями, а окна утеплены газетами и из них все равно сквозит. В блюдце с медом плавала осенняя муха и истекала медовыми слезами.

Накануне Нового года замок промерз. Ни на угрозы, ни на насильственные действия он не поддавался. В службе спасения долго не брали трубку, потом, не заметив, что приняли звонок, с веселым и непонятным подтекстом звали Тamarочку. Тамарочка не шла. Мы решили перезвонить.

Праздновать начали рано, и за час до боя курантов все ощутимо заскучали. Громче затрещали полена. Даже дети прекратили носиться и теперь спали под рыхлыми платками. Бабушку в халате, пошитом, кажется, из шторы, тоже увели. За время моего отсутствия она страшно сдала.

Окна покрылись морозными лицами. Дед перепил. Его нос краснел и ширился, ноздри дрожали, выдох электризовали воздух. Все намекало на скорый скандал. Я видела, что напускная сухость отступала, и поэтому, когда он заговорил развернутыми предложениями, я почти не удивилась.

– Знаю я, вы меня во всем вините. Думаете, вот, мол, сгноил бабку. Только вы меня сначала послушайте, а потом уж решайте, кто виноват.

Я... Любаню когда замуж брал, я же это... нарадоваться не мог. Не баба – загляденье, на все руки мастерица. Только вот детишек бог не дал. Да.

Любка сильно переживала. Я ей говорил: «Ну, давай, что ли, ребеночка из приюта возьмем». Она ни в какую. Своего хочет. Думал, поплачет и успокоится.

А потом в дверь по ночам стучать кто-то начал. Я караулю, не сплю, все никак стукача этого поймать не выходит. Каждый раз одно и то же – дверь открываю, а за ней никого. Любка говорит, мол, ничего не слышала, ничего не видела, и вообще, спи уже.

Месяц стучат, три стучат. Я уже Димку из приюта забрал, думал, повеселей Любе будет. Только все впустую – Димка плачет, надрыдается, а Люба третий раз за день полы моет, будто никто и не плачет вовсе.

Однажды ночью меня как с обрыва спустили. Просыпаюсь, сердце стучит, «Люба!» – зову, вижу, нет ее рядом. Всю деревню оббегал. Под утро только вернулась. Взгляд – кроткий, с платья тина стекает, живот вроде как округлился. Я говорю: «Где шлялась?» А она молчит. Уже спать собираюсь, и тут об окно ка-а-ак что-то шмякнет. В окно выглянул и обмер. Вижу – рожа. Перекошенная, бесовская. Выбегаю – нет никого.

Следующей ночью опять просыпаюсь. И опять Любы нет! Только голос мужской с кухни доносится. Гаденький, четенький, а слов разобрать не могу, будто по-иностранному разговаривает.

Я к двери подкрался и Любин голос слышу. Из его слов я тогда не все разобрал, но что разобрал – на всю жизнь запомнил. Клянусь, она вот что говорила: «...и просыпется зерно, и прольется кровь, и (здесь я не расслышал) заалеют и набухнет тесто. И вырастет человек, и будет рожен от (тоже было непонятно), и внутри будет не дух, а зерно». Крестом клянусь, так и было.

Я дверь открываю. Вижу – Любка на полу сидит, вся в тине, как в прошлый раз, и живот еще больше вырос. А напротив – рожа! Роженосец, в смысле. Из пор ростки торчат, как нити тонкие. Меня как по затылку ударили. Дальше ничего не помню.

Проспал сутки. Под утро подняться пытаюсь – никак, даже глаз открыть не могу, а Люба мне на ухо шепчет: «Спи давай». Я – снова спать, чувствую – она меня сзади обнимает и в спину животом тычет. И тиной пахнет.

Проснулся, смотрю – нет у нее никакого живота. Все отрицает, а сама веселая до ужаса, хохочет всюю. Но стуки прекратились.

И вот однажды домой возвращаюсь, вижу – мне навстречу знакомая рожа идет. Только не та, что я из окна видел, а поменьше, будто ребенок ее. Он мне: «Ну здравствуй, папаша», – и не хохочет – булькает. Любе об этом говорю, а она улыбается и молчит. До сих пор молчит.

И знаете, что я думаю?..

Раздались три оглушительных стука. Дед зашептал: «Дух зерна! Дух зерна...» Обшивка страшно затрещала. Дверь распахнулась.

Дядя Толя улыбался своей обычной улыбкой – кокетливой и просящей. Он открыл рот, но сказать что-то не успел – дед закричал, указал на него пальцем и рухнул в обморок.

Наутро приехала скорая. Я наблюдала за тем, как она трясется на ухабах, будто косоуго склеенная коробка в детских руках.

– Свежо сегодня, – сказала бабушка. Ее голос прозвучал как трель птицы с надувной грудью.

Мы говорили долго, я узнала слишком много, я ушла и сделала вид, что сплю. Я удивлялась силе бабушки, которая столько лет прожила с сумасшедшим, удивлялась тому, что она была готова замолчать навсегда – лишь бы не плодить безумие, и тому, что она, черт побери, просто не попросила развода.

Я думала о колдовской стойкости деревенского брака, когда на крыльце зачавкали.

